

## ОСТРИЕ БРИТВЫ

Сомерсет МОЭМ

*Трудно пройти по острию бритвы; так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к Спасению.*

### КАТХА УПАНИШАДЫ

#### Глава первая

##### I

Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все, так что она – естественное завершение любого сюжета, но и брак – неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Не что иное, кай здравый инстинкт, подсказывает рядовому человеку, что, поженив героев, автор вполне может поставить точку. Если мужчина и женщина после каких угодно перипетий обретают друг друга, значит, они выполнили свою биологическую функцию, и интерес переключается на то поколение, что идет им на смену. А я вот оставляю моих читателей в неведении. Эта книга содержит мои воспоминания о человеке, с которым я непосредственно сталкивался лишь через большие промежутки времени, и мало осведомлен о том, что он делал между нашими встречами. Как беллетрист, я бы мог, вероятно, заполнить эти пробелы достаточно убедительно и таким образом сделать мое повествование более связным; но мне не хочется этим заниматься. Я хочу писать только о том, что мне доподлинно известно.

Много лет тому назад я написал роман под названием «Луна и грош». В нем я вывел знаменитого французского художника Поля Гогена и, пользуясь правом писателя на вымысел, сочинил целый ряд эпизодов, чтобы полнее обрисовать характер, который создал исходя из скудных фактических данных, бывших в моем распоряжении. В настоящей книге я

и не пробовал повторить этот опыт. Чтобы не ставить в неловкое положение людей, которые еще живы, я только дал действующим лицам моей повести вымышленные имена и вообще позаботился о том, чтобы их нельзя было узнать. Человек, о котором я пишу, не знаменит. Возможно, он никогда не прославится. Возможно, уйдя из жизни, он оставит о своем пребывании на земле не более заметный след, чем камень, брошенный в реку, оставляет на поверхности воды. Тоща если мою книгу вообще будут читать, то только как литературное произведение, более или менее интересное. Но возможно и то, что влияние, которое оказывает на окружающих образ жизни, избранный моим героем, и необычайная сила и прелесть его характера будут распространяться все шире, и со временем, пусть через много лет после его смерти, люди поймут, что между нами жил человек поистине выдающийся. Тогда станет ясно, о ком я пишу в этой книге, и те, кому захочется хоть что-нибудь узнать о ранней поре его жизни, найдут здесь чем поживиться. Думаю, что для биографов моего друга книга эта при всех ее недочетах послужит ценным источником информации.

Разговоры, приведенные в этой книге, не следует воспринимать как стенограммы. Я никогда не записывал того, что говорилось в тот или иной день, но у меня хорошая память на все, что меня лично касается, и, хотя разговоры эти я воспроизвожу своими словами, суть сказанного, думается мне, передана верно. Выше я отметил, что ничего в этой книге не сочинил; здесь требуется некоторая оговорка. Я допустил ту же вольность, какую допускали историки со времен Геродота: вложил в уста моих персонажей речи, которых сам не слышал и не мог слышать. Сделал я это с той же целью, что и историки, – чтобы придать живость и правдоподобие сценам, которые, будь они только описаны, оставили бы читателя равнодушным. Я хочу, чтобы мои книги читали, и не считаю зазорным по мере сил этого добиваться; Сообразительный читатель с легкостью обнаружит, где именно я прибегаю к этой уловке, и его дело принять ее или отвергнуть.

Приступаю я к этой работе с опаской и по другой причине: люди, о которых мне предстоит говорить, – по большей части американцы. Знание людей – вообще дело трудное, а по-настоящему знать можно, мне кажется, только своих соотечественников. Ведь ни один человек не существует сам по себе. Люди – это и страна, где они родились, и ферма или городская квартира, где они учились ходить, и игры, в которые они играли детьми, и сплетни, которые им довелось подслушать, и еда, которой их кормили, школа, где их обучали, спорт, которым они увлекались, поэты, которых читали, и Бог, в

которого верили. Все это и сделало их такими, как они есть, и все это нельзя усвоить понаслышке, а можно постичь, только если сам это пережил. Если это часть тебя самого. И оттого, что представителей другой нации знаешь только по наблюдениям со стороны, очень трудно изобразить их убедительно на страницах книги. Даже такому внимательному и тонкому наблюдателю, как Генри Джеймс, к тому же сорок лет прожившему в Англии, не удалось изобразить ни одного англичанина так, чтобы в него можно было до конца поверить. Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме англичан, разве что в нескольких коротких рассказах – в этом жанре можно обойтись без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина, я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог. Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они – американцы, какими те себя видят; они – американцы, увиденные глазами англичанина. Я не старался передать особенности их речи. Английские писатели, пытающиеся это делать, терпят неудачу точно так же, как американские писатели, когда пытаются изобразить, как говорят в Англии. Особенно много опасностей таит в себе разговорный язык. В своих английских вещах Генри Джеймс много им пользовался, но всегда не совсем так, как англичане, почему и диалог у него не производит впечатления естественной легкости, к чему он стремился, а сплошь и рядом режет слух английскому читателю.

## II

В 1919 году, по дороге на Дальний Восток, я оказался в Чикаго и по причинам, не имеющим никакого касательства к этой повести, задержался там недели на три. Незадолго до того вышел в свет один мой роман. Роман имел успех, и не успел я прибыть в Чикаго, как ко мне явился интервьюер. На следующее утро у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку.

– Это говорит Эллиот Темплтон.

– Эллиот? Я думал, вы в Париже.

– Нет, я здесь, гощу у сестры. Приезжайте к нам сегодня завтракать.

– С удовольствием.

Он уточнил время и дал мне адрес.

С Эллиотом Темплтоном я был знаком пятнадцать лет. Сейчас, когда ему шел шестой десяток, это был высокий представительный мужчина с правильными чертами лица и густыми волнистыми волосами, поседевшими лишь настолько, чтобы придать ему еще более аристократический вид. Одевался он безупречно. Галстуки покупал у Шарве, а костюмы, обувь и шляпы – в Англии. В Париже он снимал квартиру на левом берегу Сены, на фешенебельной улице Сен-Гийом. Люди, не любившие его, говорили, что он делец, однако он гневно отметал такое обвинение. У него был вкус, были знания, и он не отрицал, что в минувшие годы, когда он только что поселился в Париже, ему случалось давать советы богатым коллекционерам, пополнявшим свои собрания картин; а когда благодаря своим связям в обществе он узнавал, что какой-нибудь обедневший высокородный француз или англичанин не прочь продать первоклассную картину, охотно сводил его со знакомым экспертом из американского музея, которому, как ему было известно, как раз требовался высокий образец работы данного мастера. Во Франции, да и в Англии тоже, имелось немало старинных семейств, в силу обстоятельств вынужденных расставаться то с подписным столиком-буль, то с конторкой собственноручной работы Чиппендейла, и представители этих семейств бывали рады познакомиться с культурным, прекрасно воспитанным человеком, который мог им в этом помочь, деликатно и без огласки. Естественно было предположить, что Эллиоту кое-что перепало от этих сделок, но упоминать об этом было бы бестактно. Злые языки утверждали, что в его квартире любая вещь продается и что стоит ему угостить богатых американцев отличным обедом с марочными винами, как из его гостиной исчезают два-три ценнейших рисунка либо вместо секретера-маркетри появляется новый, лакированный. Когда его спрашивали, куда пропала та или иная вещь, он очень правдоподобно объяснял, что она его не вполне удовлетворяла и он обменял ее на другую, более высокого качества. И добавлял, что скучно все время иметь перед глазами одно и то же.

– Nous autres américains, – мы, американцы, – говорил он, – любим разнообразие. В этом и наша сила, и наша слабость.

Некоторые американцы, наезжавшие в Париж, уверяли, что знают про него решительно все, что он из очень бедной семьи и если сейчас живет так широко, то лишь потому, что сумел проявить большую ловкость. Я не знаю,

сколько у него было денег, но титулованный домовладелец, безусловно, брал с него за квартиру недешево и произведений искусства в ней хватало. По стенам висели рисунки великих французских художников: Ватто, Фрагонара, Клода Лоррена, на паркетных полах раскинулись во всей своей красе ковры из Савоннери и Обюссона, а в гостиной стоял обитый вышитым атласом гарнитур в стиле Людовика XV, такой изящный, что в свое время им и впрямь, как он утверждал, могла владеть мадам де Помпадур. Во всяком случае, Эллиот мог позволить себе не искать заработка и вести жизнь, по его мнению, подобающую джентльмену; а откуда у него взялись на это средства – о том поминали только те, кто были готовы с ним раззнакомиться. Избавленный, таким образом, от материальных забот, он целиком отдался своей главной страсти – продвижению по общественной лестнице. Деловые связи с неимущими вельможами как во Франции, так и в Англии добавились к тем первым зацепкам, которые у него оказались, когда он молодым человеком прибыл в Европу с рекомендательными письмами. Некоторые из этих писем были адресованы американкам, породнившимся с европейской знатью, и тут помогло его происхождение: он был из старой виргинской семьи, и один из его предков по материнской линии поставил свою подпись под Декларацией независимости. У него была приятная внешность, он хорошо танцевал, недурно стрелял, прекрасно играл в теннис. Ему везде были рады. Он не скупился на цветы и на коробки дорогих шоколадных конфет; у себя принимал редко, но всегда с выдумкой. Богатым американкам нравилось, когда их возили в богемные ресторанчики Сохо и в бистро Латинского квартала. Он всегда был готов к услугам и выполнял любые просьбы, даже самые обременительные. Не жалея сил, он ублажал стареющих дам и вскоре стал вхож во многие чопорные особняки на правах общего любимца, *ami de la maison*. Любезности его не было границ. Он и не думал обижаться, если его приглашали в последнюю минуту, лишь потому, что кто-то другой из приглашенных подвел хозяев, и за столом его можно было посадить рядом с очень скучной старухой, не сомневаясь, что он будет с ней отменно остроумен и обходителен.

За два-три года он перезнакомился со всеми, с кем стоило познакомиться молодому американцу, – как в Лондоне, куда он отправлялся в конце сезона и откуда осенью ездил гостить в загородные поместья, так и в Париже, где он обосновался. Дамы, которые первыми ввели его в общество, с удивлением обнаруживали, как быстро разросся круг его знакомств. Это вызывало у них смешанные чувства. С одной стороны, им было приятно,

что их молодой протеже не обманул ожиданий, с другой – немного досадно, что он так близко сошелся с людьми, с которыми сами они поддерживали лишь чисто официальные отношения. Хотя он по-прежнему бывал им полезен и всегда готов услужить, невольно закрадывалась мысль, не использовал ли он их как ступеньки в своей светской карьере. Они подозревали в нем сноба. И не без оснований. Конечно, он был сноб и даже не стыдился этого. Он готов был претерпеть любой афронт, снести любую насмешку, проглотить любую грубость, лишь бы получить приглашение на раут, куда жаждал попасть, или быть представленным какой-нибудь сварливой старой аристократке. Он был неутомим. Наметив себе добычу, он преследовал ее с упорством ботаника, разыскивающего редкостную орхидею, невзирая на наводнения, землетрясения, лихорадки и враждебных туземцев. Война 1914 года позволила ему окончательно утвердиться. Он был зачислен в санитарную часть, служил сперва во Фландрии, потом в Аргонне, а через год вернулся с красной ленточкой в петлице и был назначен на ответственный пост в Красном Кресте в Париже. К тому времени он уже был состоятельным человеком и щедро жертвовал на добрые дела под эгидой разных влиятельных лиц. Он всегда был готов поставить свой безупречный вкус и организаторские способности на службу любому благотворительному начинанию, достаточно широко разрекламированному. Он стал членом двух самых недоступных парижских клубов. Для высокопоставленных французских дам он был теперь *se cher Elliott*. Он достиг желанных высот.

### III

Я познакомился с Эллиотом, когда был заурядным молодым писателем, и он не удостоил меня вниманием. У него была отличная память на лица, и, встречаясь, он сердечно пожимал мне руку, однако не выказывал желания сойтись со мной ближе, а если я попадался ему на глаза, скажем, в опере, где он был с каким-нибудь титулованным приятелем, мог и вовсе меня не заметить. Но потом я как-то сразу приобрел известность как драматург и убедился, что его отношение ко мне потеплело. Однажды я получил от него записку с приглашением позавтракать в отеле «Кларидж», где он останавливался, когда бывал в Лондоне. Общество собралось небольшое и не самое шикарное, и у меня создалось впечатление, что Эллиот ко мне примеривается. Однако благодаря успеху моих пьес у меня появилось много новых друзей, и мы стали встречаться чаще. Тут я как-то провел несколько осенних недель в Париже и встретил его у одних общих

знакомых. Он спросил, где я остановился, и через несколько дней я снова получил приглашение на завтрак – на этот раз у него дома, а приехав, с удивлением убедился, что общество у него собралось самое изысканное. Мысленно я посмеялся. Мне было ясно, что с присущим ему безошибочным светским чутьем он сообразил, что в Англии я как писатель не Бог весть какая персона, тогда как во Франции, где писателю создает престиж сама его профессия, – другое дело. В последующие годы мы сошлись ближе, хотя друзьями так и не стали. Едва ли Эллиот Темплтон вообще мог стать кому-нибудь другом. Люди интересовали его только с точки зрения их места в обществе. Когда я бывал в Париже или он в Лондоне, он продолжал приглашать меня на обеды, если требовался лишний мужчина или предстояло принимать путешествующих американцев. Среди них, как я подозревал, бывали и прежние его клиенты, и незнакомые ему люди, направленные к нему с рекомендательными письмами. Это был его крест. Он чувствовал, что должен что-то для них сделать, а вместе с тем ему вовсе не улыбалось знакомить их со своими знатными друзьями. Проще всего было, конечно, накормить их обедом и сводить в театр, но и это порой оказывалось затруднительно, поскольку все вечера у него были обычно расписаны на три недели вперед, да и не верилось ему, что они этим удовлетворятся. Со мною, как с писателем, он особенно не церемонился и не прочь был мне поплакаться.

– В Америке любого готовы снабдить рекомендательным письмом. Я не говорю, сам я всегда рад повидать земляков, но почему я должен навязывать их общество моим друзьям?

Он пробовал отделаться корзинами роз и огромными коробками конфет, но иногда этого оказывалось мало. И вот тогда он немного наивно, если учесть то, что он перед тем мне говорил, приглашал меня на обед.

«Они просто жаждут с вами познакомиться, – писал он, чтобы мне польстить. – Миссис Такая-то очень культурная женщина и ваши книги знает буквально наизусть».

А затем миссис Такая-то сообщала мне, что ей ужасно понравился мой роман «Мистер Перрен и мистер Трэйл», и поздравляла с успехом моей пьесы «Моллюск». Роман этот написал Хью Уолпол, а пьесу – Хьюберт Генри Дэвис.

## IV

Если у читателя сложилось впечатление, что Эллиот Темплтон был препротивный тип, значит, я не отдал ему должное.

Прежде всего он был *serviable*, что в переводе с французского означает примерно: добрый, обязательный, готовый помочь. Он был великодушен и если в начале своей карьеры задаривал знакомых цветами, конфетами и сувенирами безусловно не без задней мысли, то продолжал в том же духе и тогда, когда надобность в этом отпала. Он любил делать подарки. Он был гостеприимен. Повар этот был одним из лучших в Париже, и можно было не сомневаться, что к столу будут поданы самые ранние овощи и фрукты. Его вина свидетельствовали об отменном вкусе хозяина. Правда, гостей он выбирал главным образом по признаку их положения в обществе, однако заботился и о том, чтобы среди них оказалось хотя бы двое чем-либо интересных, так что скучно у него почти никогда не бывало. Многие смеялись над ним у него за спиной, называли его бессовестным снобом, но приглашения принимали охотно. По-французски он говорил правильно и свободно, с безукоризненным произношением. По-английски приучил себя говорить как англичане, так что лишь очень чувствительное ухо время от времени улавливало в его речи американские интонации. Он был отличным собеседником, если только не давать ему разглагольствовать про герцогов и герцогинь; но теперь, когда положение его было прочно, он даже о них позволял себе поговорить забавно, особенно с глазу на глаз. Он умел позлословить, а уж сплетни, ходившие про этих высокопоставленных личностей, знал все до одной. Это он сообщил мне, кто отец последнего ребенка принцессы Н. и кто любовница маркиза Д. Даже Марсель Пруст, по-моему, был осведомлен об интимной жизни аристократии не лучше, чем Эллиот Темплтон.

Бывая в Париже, я часто с ним завтракал – когда у него, когда в ресторане. Я люблю бродить по антикварным лавкам – изредка покупаю что-нибудь, а чаще просто гляжу, – и Эллиот с радостью сопровождал меня в этих походах. Он по-настоящему любил красивые вещи и знал в них толк. Кажется, не было в Париже такой антикварной лавки, о которой бы он не слышал, с владельцем которой не был бы на короткой ноге. Он обожал вести переговоры и, пускаясь в путь, предупреждал меня:

– Если вам что-нибудь приглянется, не вздумайте покупать сами. Вы только



дайте мне знак, остальное я беру на себя.

Он искренне радовался, когда ему удавалось отторговать для меня что-нибудь за полцены. А торговался он мастерски – спорил, улещивал, сердился, взывал к лучшим чувствам продавца, высмеивал его, находил в облюбованной вещи изъяны, грозил, что ноги его здесь больше не будет, вздыхал, пожимал плечами, корил, в гневе поворачивал к выходу, а одержав наконец победу, сокрушенно качал головой, словно принимая неизбежное поражение. И тут же успевал шепнуть мне по-английски:

– Берите. Вдвое больше и то было бы дешево.

Эллиот был ревностным католиком. Еще в первые свои парижские годы он повстречал некоего аббата, известного тем, скольких безбожников и еретиков он вернул в лоно истинной церкви. Аббат этот усердно посещал званые обеды и блистал остроумием. Своим духовным руководством он удостоивал только богачей и аристократов. Как человек скромного происхождения, сделавшийся желанным гостем в самых знатных семействах, он не мог не импонировать Эллиоту, и последний признался одной богатой американке, недавно обращенной аббатом, что, хотя семья его спокон веку принадлежала к епископальной церкви, сам он давно интересуется католичеством. Дама пригласила его на обед – только его и аббата, – и тот показал себя во всем блеске. Хозяйка дома навела разговор на католичество, и аббат подхватил эту тему благоговейно, но без педантизма, как светский человек (хоть и священник) в беседе с другим светским человеком. Эллиоту было лестно убедиться, что аббат хорошо о нем осведомлен.

– На днях мне рассказывала о вас герцогиня Вандомская. Вы произвели на нее впечатление очень умного человека.

Эллиот даже вспыхнул от удовольствия. Да, он был представлен ее светлости, но никак не думал, что она его запомнила. Аббат толковал о религии мудро и мягко, проявил терпимость, широту взглядов и современность подхода. В его изображении церковь предстала перед Эллиотом как некий клуб для избранных, в котором воспитанному человеку ради собственного престижа просто необходимо состоять членом. Через полгода он был туда принят. Обращение его в сочетании со щедрыми пожертвованиями на католическую благотворительность открыло перед

ним двери нескольких домов, в которые он до того не имел доступа.

Можно по-разному расценить мотивы, заставившие его отречься от веры отцов, но, после того как он это сделал, набожность его не вызвала сомнений. Каждое воскресенье он ездил в одну из самых фешенбельных парижских церквей, регулярно исповедовался и периодически совершал паломничество в Рим. За свое благочестие он со временем был награжден зачислением в папские камергеры, а за усердие, с каким выполнял свои новые обязанности, – орденом (если не ошибаюсь – Гроба Господня). Словом, как католик он преуспел не меньше, чем как *homme du monde*.

Я часто спрашивал себя, в чем причина снобизма, которым был одержим этот человек, такой неглупый, образованный и добрый. Он не был безродным выскочкой. Отец его был ректором университета в одном из южных штатов, дед – вполне почтенным доктором богословия. У Эллиота хватало ума понять, что многие принимали его приглашения только ради того, чтобы бесплатно пообедать, что среди них есть и тупицы, и ничтожества. Но блеск их громких титулов затмевал в его глазах любые их недостатки. Я могу только догадываться, что тесное общение с этими родовитыми господами и верная служба их дамам вселяли в него непреходящее чувство одержанной победы и что за всем этим крылась страстная романтическая натура, позволявшая ему видеть в тщедушном французском маркизе того крестоносца, что побывал в Святой земле с Людовиком IX, а в английском графе, хвастающем своей псарней, – предка этого графа, сопровождавшего Генриха VIII на Парчовое поле. Ему, наверное, казалось, что в обществе таких людей он сам живет в каком-то великолепном, доблестном прошлом. И, вероятно, сердце его радовалось, когда он перелистывал Готский альманах, и одно имя за другим вызывало в его памяти давно минувшие войны, исторические осады, прославленные поединки, дипломатические интриги и любовные похождения королей. Вот таким человеком был Эллиот Темплтон.

## V

Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль.

– Я решил зайти за вами, – сказал он, пожимая мне руку. – Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго.

Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка – очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи.

– Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком, – предложил он.

Воздух был чуть морозный, в небе ни облачка, и размяться было приятно.

– Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите, – сказал Эллиот, бодро шагая со мной рядом. – Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком – только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон.

– Специалист по интерьерам?

– Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде, и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему всю отделку своего замка, а Сент-Эрты – свой дом в Сент-Клемент-Толбот. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы... Да вот вы сами увидите. Как она могла прожить в нем столько времени – уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго. –

Он рассказал мне, что миссис Брэдли – вдова, у нее трое детей: два сына и дочь; но сыновья давно уже взрослые, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе, он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах, несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался.

– Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом, – продолжал Эллиот, – но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет. Брэдли – одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из

Виргинии в тысяча восемьсот тридцать девятом году и обзавелись землей  
милях в шестидесяти от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им  
принадлежит, – Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я  
отнесся к этим сведениям. – Тот Брэдли, что здесь обосновался, был, в  
сущности, по нынешним понятиям, фермер. Не знаю, известно ли это вам,  
но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада,  
многие виргинцы, все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших  
семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать  
благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер  
Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую  
контору. И нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему  
сыну вполне порядочное состояние.

Не столько слова Эллиота, сколько его тон означали, что, на его взгляд,  
Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный  
дом с колоннами и обширные плантации на какую-то контору, но то  
обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало  
этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли – не в тот  
день, а позже – показала мне любительские снимки того, что ему угодно  
было именовать их «поместьем», и я увидел скромный оштукатуренный  
дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а  
вокруг – унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли  
знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город.

Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным  
домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых  
ступеней. Он стоял в ряду других, на улице, отходящей от набережной и  
выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным,  
что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства). Дверь  
отворил дородный седовласый дворецкий-негр, и нас провели в гостиную.  
Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В  
молодости она, видимо, была хороша собой – у нее были правильные, хоть  
и довольно крупные черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это,  
желтоватое, почти вызывающе не накрашенное, уже немного оплыло, и  
было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых  
женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась: сидела  
очень прямо, на стуле с жесткой спинкой – так ей, в тесной броне корсета,  
было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье,  
щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал

подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затыльную прическу.

Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках.

– Эллиот говорит, вы ехали южным путем, – сказала миссис Брэдли. – Вы в Риме останавливались?

– Да, я провел там неделю.

– Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита?

Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю.

– Как, вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Квиринале бывать нельзя?

– Отнюдь нет, – улыбнулся я. – Дело в том, что я с нею не знаком.

– Не знакомы? – Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. – А почему?

– Да потому, что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами.

– Но она такая милая женщина, – горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. – Я уверена, что она бы вам понравилась.

Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона.

Грегори Брабазон, несмотря на свою фамилию, не был романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой – бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке, – красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески весело и открыто, много смеялся, но не

требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ, а принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение.

Дворецкий внес на подносе коктейли.

– Изабеллу ждать не будем, – сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал.

– А где она? – спросил Эллиот.

– Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает.

– Ларри – это Лрренс Даррел, – объяснил мне Эллиот. – Он считается женихом Изабеллы.

– А я и не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот, – сказал я.

– Я и не пью, – ответил он мрачно. – Но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом? – Он вздохнул. – Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные влияния пагубны для чистоты нравов.

– Какая чушь, Эллиот, – сказала миссис Брэдли.

Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдало в ней женщину с характером; а по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но проницательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, подумал я, как она отнесется к Брабазону. Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретонная обивка кресел были одного и того же рисунка; на стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, мадонны школы

Гвидо Рени, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Паннини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине – столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы. Были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, – обрюзгшие каменные идола, глиняные сосуда. Был чиппендейловский секретер и столик-маркетри. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство и, однако же, не знаю почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки.

Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась и вошла девушка, а за нею молодой человек.

– Мы опоздали? – сказала она. – Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть?

– Надеюсь, – улыбнулась миссис Брэдли. – Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор.

– Он нам открывал дверь. Я ему уже сказала.

– Это моя дочь Изабелла, – обратилась миссис Брэдли ко мне. – А это – Лоренс Даррел.

Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона.

– Вы мистер Брабазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже сколько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?

Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко, раскатисто рассмеялся.

– Комната, конечно, комфортабельная и все такое, – сказал он, – но, если уж говорить начистоту, эстетическое чувство она оскорбляет.

Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты – удлинённый овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, – тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость была в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот при всей его элегантности выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном. Так свежа, что поблекшее, в морщинках, лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым.

Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был – с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком. А миссис Брэдли, кисти французского художника девяностых годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа, с жемчугом на шее и брильянтовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька, в другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная, мореного дуба.

– Ну, что вы скажете? – спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол.

– Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег, – отвечал он.

– Еще бы, – сказала миссис Брэдли. – Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили. В Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась.

– Что бы вы с ним сделали, если б он был ваш? – спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, а ответил сам:



– Сжег бы.

Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV, Изабелле виделся узкий стол, как в монастырских трапезных, и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать чиппендейл.

– Я придаю огромное значение личности, – сказал он и обратился к Эллиоту: – Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант?

– С Мэри? Мы с ней близкие друзья.

– Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал: Георг Второй.

– И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть что такое.

Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри (фамилию его я успел забыть) вообще молчал. Он сидел напротив меня, между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод. Худой, голенастый, примерно одного роста с Эллиотом. Внешность приятная, не красавец и не урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало: хотя он, с тех пор как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки – длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив, он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками, черты, хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски, волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опущены длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто-карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком, и это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество, и нетрудно было понять, почему

Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь, и я, как человек уже не первой молодости, завидовал им, но в то же время, неизвестно почему, испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастьем ничто не грозило; обстоятельства как будто им благоприятствовали, так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке.

Изабелла, Эллиот и Грегори Брабазон все толковали о новом убранстве дома, пытаюсь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять, но она отделялась приветливыми улыбками.

– Не торопите меня. Дайте мне время подумать. – И повернулась к молодому человеку. – А как твое мнение, Ларри?

Он оглядел нас всех, улыбаясь одними глазами.

– По-моему, все равно, что так, что этак.

– Ларри, противный! – вскричала Изабелла. – Я же специально просила тебя нас поддержать.

– Если тете Луизе и так хорошо, зачем нужно что-то менять? Вопрос его был так к месту и так разумен, что я рассмеялся.

Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся, уже не таясь.

– Ну вот, сболтнул глупость и радуешься, – сказала Изабелла.

Но он только улыбнулся еще шире, и я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена, но у меня, сам не знаю почему, появилось ощущение, что в ее любви есть и что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегори Брабазону.

– Не обращайтесь на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов.

– Полетов? – удивился я.

– Он был на войне авиатором.

– Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать.

– Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно. Удрал из школы и прямо в Канаду. Наврал там с три короба, убедил их, что ему восемнадцать лет, и поступил в авиацию. К концу войны он сражался во Франции.

– Гостям твоей мамы это неинтересно, Изабелла, – сказал Ларри.

– Я знаю его с пеленок, и, когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться, – верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская.

– Перестань, Изабелла, – остановила ее мать.

Ларри наклонился ко мне через стол.

– Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабелла неплохая девушка, но любит приврать.

Завтрак кончился, и мы с Эллиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри.

– Прелестное это зрелище, молодые влюбленные, – сказал я.

– Молоды они, чтобы жениться.

– Почему? Это так хорошо: быть молодыми, влюбленными и пожениться.

– Бросьте, вздор это. Ей девятнадцать лет, ему только что минуло двадцать. Он нигде не работает. Есть крошечный доход. Луиза говорит – три тысячи годовых, а Луиза сама небогатая женщина. Лишних денег у нее нет.

– Ну, так он может поступить на работу.

– В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо.

– На войне ему, надо полагать, пришлось несладко. Наверно, хочется отдохнуть.

– Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно.

– Мне показалось, он славный мальчик.

– Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная, и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора. Был в Йельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода.

– Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли?

– Да, мать умерла в родах, а отец лет двенадцать тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ним и познакомились.

– А Марвин это где?

– Там же, где поместье Брэдли. Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчика. Доктор Нелсон – холостяк, в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол, а на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. – Эллиот пожал плечами на французский манер. – Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится.

Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинился ему, решив, что приду еще раз и поброжу здесь один в свое удовольствие; через какое-то время он взглянул на часы.

– Пошли, – сказал он. – Я никогда не провожу в музее больше часа. Дольше нельзя – восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз.

Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой,

напичканный сведениями, но несколько утомленный.

Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи, после обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду, тогда мы с Эллиотом могли бы спокойно побеседовать вечером.

– Порадуйте его, – добавила она. – Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык.

Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад.

– В этом огромном городе я как в пустыне, – сказал он. – Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель, мы не виделись с тысяча девятьсот двенадцатого года, а теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж. Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят как на ископаемое. Дикари. Я посмеялся, и мы простились.

## VI

На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной неслся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. Миссис Брэдли выглядела весьма импозантно в зеленых шелках, с ошейником из мелкого жемчуга; Эллиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицым мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его называли доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины – молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный – не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами. Изабелла была

очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги; фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь, обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна, но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнеть сверх меры.

За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи, фамилию я не расслышал. Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я попытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная – вздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза; волосы гладко причесаны, каштановые, с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шуткам она смеялась, но несколько натянуто, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобраться, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива, и, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горя попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом.

– Ну, доктора Нелсона вы знаете, – сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня по другую руку от миссис Брэдли. – Он опекун Ларри. Наш марвинский доктор. Ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет.

По тому, как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она между тем стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин – в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно: «Она – прелесть», «Он хорошо играет в гольф».

– А кто вон тот великан с бровями?

– Этот? О, это Грэй Мэтьюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак марка. «Мэтьюрин, Хобс, Райнер и Смит». Он один из самых богатых людей в Чикаго, а Грэй – его единственный сын.

Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела.

– Расскажите мне еще про мистера Мэтьюрина.

– Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважают. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чикагскому университету.

– Сын его – видный молодой человек.

– Он славный. Даже не верится, что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка – шведка, прислуживала в харчевне.

Внешность у Грэя была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные – тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку; волосы, иссиня-черные, гладко прилизаны, под густыми бровями – ясные, ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален. Я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная, это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом.

– Он пользуется огромным успехом, – продолжала между тем моя застенчивая соседка. – Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших.

– Почему же?

– Вы, наверно, ничего не знаете?

– Откуда мне знать?

– Он до безумия влюблен в Изабеллу, а Изабелла влюблена в Ларри.

– А что ему мешает отбить ее у Ларри?

– Ларри его лучший друг.

– Это, надо полагать, усложняет дело.

– Для такого принципиального человека, как Грэй, – безусловно.

Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дожидаться. Она была явно не уверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она единственный ребенок и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, втихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно, и притом безошибочно, судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза.

– Вам сколько лет?

– Семнадцать.

– Много ли вы читаете? – спросил я, чтобы что-нибудь спросить, но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную.

Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер: остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом – предложение мистера Мэтьюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных



способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грэй, его товарищ, только об этом и мечтал.

Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны, к тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился – пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной: он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива.

– У нее характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему недостает.

Хотя оба были так молоды, миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием: что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в десять раз больше. Насколько я понял, она и Эллиот надеялись выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить Ларри принять предложение мистера Мэтьюрина.

– Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам, – отбивался тот. – Мальчишкой и то делал все по-своему.

– Знаю. Вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути.

Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на миссис Брэдли. Его красная физиономия покраснела еще гуще.

– Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе потому что ему было некуда деваться, и потому что дружил с его отцом. А

мальчишка был трудный.

– Не понимаю, как вы можете так говорить, – резко возразила миссис Брэдли. – У него чудесный характер.

– Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает как ему заблагорассудится, а рассердишься на него, раскричишься – тогда говорит, что ему очень жаль и кричи, мол, сколько влезет. Будь он моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглого сироту, да и отец мне его завещал в надежде, что я его не обижу.

– Это к делу не относится, – раздраженно прервал его Эллиот. – Сейчас положение такое: без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, и, если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять.

– Он должен понять, – добавила миссис Брэдли, – что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп. Все мы знаем, как после войны между штатами некоторые мужчины, вернувшись из походов, потом до конца жизни палец о палец не ударили. Были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества.

Тут и я вставил свое слово:

– Но как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений?

– А никак. Просто говорит, что это ему не подходит.

– Но чем-то заняться ему хочется?

– Видимо, нет.

Доктор Нелсон подлил себе виски. Отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей.

– Сказать вам, какое у меня ощущение? Может, я не Бог весть какой знаток человеческой природы, но после тридцати пяти лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то с ним там случилось такое, что

изменило всю его сущность.

– Что же это могло быть? – спросил я.

– Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит. – Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. – Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?

Она покачала головой.

– Нет. Сначала, когда он вернулся, мы все расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула.

Мы еще поговорили, все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упрямил меня подождать. Когда мы остались вдвоем, миссис Брэдли извинилась, что надоедала мне их семейными делами, и выразила надежду, что я не очень скучал.

– Но, понимаете, меня это не на шутку заботит, – объяснила она в заключение.

– Мистер Моэм очень деликатный человек, Луиза, ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон откровенничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать.

– Эллиот!

– Ты столько ему рассказала, можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грэя Мэтюрина?

– Он такой большой, как его не заметить.

– Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится: если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение. Она не сказала ни да, ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри.

– А почему он сам не был на войне? – спросил я.

– Перетрудил сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли. Так или иначе, когда Ларри вернулся, его шансы свелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала.

Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал. А Эллиот после паузы заговорил снова. Изысканные манеры, оксфордский выговор – ну точь-в-точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел.

– Ларри, конечно, очень милый юноша и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию, но, уверяю вас, в людях я разбираюсь... – Он позволил себе самодовольную полуулыбку и единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. – Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из Ларри никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких, положения тоже. Грэй Мэтюрин – совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых.

– Откуда вам это известно? – спросил я.

– Как-то такие вещи узнаются, – ответил он уклончиво. – Да вот я только на днях просматривал в клубе Американский биографический словарь, и мне там попалась эта фамилия.

Я не счел нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки про бедняка-ирландца и шведку-официантку – деда и бабу Грэя. А Эллиот продолжал:

– Генри Мэтюрина мы знаем много лет. Он прекрасный человек и очень богатый. Грэй поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности. Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это безусловно отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже.

– Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот, – сказала миссис Брэдли, сухо улыбнувшись. – Ты забыл, что девушки здесь выходят замуж не

потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы.

– И гордиться тут нечем, Луиза, – резко отпарировал Эллиот. – Тридцатилетний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции, а это в конечном счете единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла, не задумываясь, вышла бы за Грэя, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники. А Грэй мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и все были бы довольны.

Миссис Брэдли была не глупа. Она взглянула на брата весело и лукаво.

– Горе в том, Эллиот, что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой.

Эллиот улыбнулся.

– Ну, Грэй мог бы купить место на нью-йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке.

Вскоре затем я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэтюрины, отец и сын.

– Генри – лучший тип американского бизнесмена, – сказал он. – Хорошо бы вы с ним познакомились. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги.

Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился.

## VII

В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой, и на следующее утро я пошел туда посмотреть кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Было еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением

увидел, что это Ларри. Вот уж кого не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать.

– Сидите, сидите, – сказал я и спросил почти машинально: – Что хорошего читаете?

– Книжку, – ответил он с улыбкой, до того подкупающей, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным.

Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие.

– Хорошо провели вчера время? – спросил я.

– Замечательно. Домой добрался в пять часов утра.

– А сейчас уже здесь? Ну и энергия!

– Я сюда часто прихожу. Обычно в это время здесь никого не бывает.

– Ну, не буду вам мешать.

– Вы мне не мешаете, – сказал он и опять улыбнулся, и тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхивала, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене, рядом стояло второе кресло. Он коснулся его ручки. – Может быть, присядете?

– Ну что ж.

Он протянул мне свою книгу.

– Я вот что читал.

Это были «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки; к тому же это книга, которая удивительно легко читается; но странно было увидеть ее в руках у очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до пяти часов утра.

– Зачем вы это читаете? – спросил я.

– Я очень невежественный человек.

– И очень еще молодой, – улыбнулся я.

Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыски интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заговорил – так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания.

– Когда я вернулся из Франции, все они хотели, чтобы я поступил в университет. А я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился. А первокурсником просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть, я не хотел. И боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало.

– Конечно, мое дело сторона, – отвечал я, – но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял, и согласен, что после двух лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься – не верю. Я мало знаком с американскими университетами, но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских, разве что тон поглубже и развлечения попроще. Но в общем они очень порядочные и неглупые, и я думаю, что, если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберег бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик и теряешь даром массу времени.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)